
Теория: Проблемы и размышления

Н. ДВОРЦОВА

ПРИШВИН И МЕРЕЖКОВСКИЙ

(Диалог о Граде Невидимом)

В кругу людей, с которыми прожита жизнь Пришвина, писателя и человека, особенное и значительное место принадлежит Мережковскому.

Мережковский входит в жизнь Пришвина вместе с культурой русского символизма, когда Пришвин, орловец по рождению, приезжает в 1904 году в Петербург, становящийся его духовной и писательской родиной. Здесь в поисках «своего пути» в литературе и жизни Пришвин осмысляет опыт «тенденциозно-гражданского» направления в литературе и «эстетизма искусства» «секты служителей красоты» (так он называет декадентов-символистов), открывая в основе того и другого движения русской культуры ограничение творческой свободы личности, подмену жизни абстрактными идеями. Вместе с тем Пришвин не раз будет писать об «общем культурном влиянии» символистов, которое он испытал¹.

Пришвин знакомится с Мережковским в октябре 1908 года. 1908—1909 годы будут временем максимального личного сближения Пришвина с Мережковским, его причастности к «школе Мережковских». Мережковский становится героем двух повестей Пришвина: «У стен града невидимого» (1908) и «Заворошка» (1913). Кроме того, Мережков-

¹ Цит. по: Ю. Е. Б и р м а н, Три письма и одна встреча. — В кн.: «Воспоминания о Михаиле Пришвине», М., 1991, с. 223.

ский — один из главных героев романа «Начало века», над замыслом которого Пришвин работал всю жизнь, но который так и не был создан. В романе о «трагической цветущей эпохе словесного творчества», как Пришвин называет «начало века» в России, Мережковского неизменно окружают В. Розанов, А. Блок, А. Ремизов, М. Горький. Все они — постоянные спутники Пришвина, герои полувекового Дневника писателя, главной его книги. С каждым из них на протяжении всей своей жизни он ведет в Дневнике «внутренний диалог» (М. Бахтин). Вместе с тем все они — это очевидно сегодня, когда публикуется в подлинном виде и становится достоянием культуры уникальный Дневник писателя, — «вечные спутники» Пришвина-художника в истории русской культуры.

Беглый очерк хронологии отношений Пришвина и Мережковского (два года и вся жизнь) свидетельствует не только о значимости Мережковского в судьбе Пришвина, но и о многоуровневости (сфера духовно-нравственных исканий; сфера поэтики — переключка тем, мотивов, образов; взаимодействие творческих методов в литературном процессе «начала века» и т. д.) генетических и типологических связей писателей.

Предметом осмысления в статье является не все многообразие этих связей, а две темы, точнее, два взаимосвязанных сюжета «внутреннего диалога» Пришвина с Мережковским. Первый связан с поездкой каждого из них к Светлому озеру, к граду Китежу. Второй сюжет — петербургский — связан с тем, что в 1908 году Пришвин становится членом Религиозно-философского общества. Возникнув в раннем Дневнике Пришвина и перейдя оттуда в его художественные произведения («У стен града невидимого», «Заворошка», «Начало века»), сюжеты эти сохраняются в Дневнике до конца жизни писателя, являясь своеобразным знаком постоянной его темы «искания Бога» русской интеллигенцией и ее исторической судьбы.

У Пришвина, в отличие от других современников автора «Христа и Антихриста» (Вяч. Иванова, Н. Бердяева, В. Розанова, А. Белого, А. Блока, Е. Лундберга, Б. Грифцова и др.), был свой особый взгляд на личность Мережковского. Пришвин осмыслял Мережковского, исходя прежде всего из факта его путешествия к граду Китежу. В поездке Мережковского к невидимому граду он видел событие не только личной жизни писателя, но и русской культуры XX века. Богоискательство Мережковского Пришвин пытался понять сквозь призму проблемы интеллигенции и народа —

«великих крайностей русского духа», проблемы судьбы русской культуры и русской веры в связи с этим «расколом» русского духа.

Раскрывая диалогический механизм культуры, в котором проявляется ее сущность, М. Бахтин писал: «Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ними начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов»². В ходе этого диалога смыслы, утверждает М. Бахтин, взаимооткрывают и взаимоосвещают друг друга. «Внутренний диалог» Пришвина с Мережковским, представляющий живую жизнь культуры как «смысловую цепь» (М. Бахтин), дает возможность увидеть Мережковского глазами Пришвина, еще раз обратиться к «загадке» Мережковского³, волновавшей и тревожившей Пришвина, как и других современников автора «Христа и Антихриста», загадке, остро осознающейся и сегодня. Кроме того, диалог этот позволяет по-новому увидеть самого Пришвина. На фоне личности и творчества Мережковского Пришвин открывается как художник «начала века», прошедший свой путь богоискания; как русский интеллигент рубежа XIX—XX веков, включенный в процессы культуры, связанные с возвращением к христианству и церкви русской атеистической интеллигенции.

Осмысление личности Мережковского сопровождалось у Пришвина чувством одновременного притяжения и отталкивания. Скептическое к нему отношение (в ноябре 1908 года Пришвин, например, записывает в Дневнике: «Мережковские исчезнут как раздражающие обстоятельства, если иметь в виду серьезное изучение времени по их идеям», — Архив В. Д. Пришвиной) соединяется у Пришвина с признанием того, что эпоха богоискательства существует в русской истории под знаком Мережковского: в Дневнике 1944 года появится почти терминологическое «время Мережковского». Отталкивание от Мережковского и его критическое осмысление всегда соединялось у Пришвина с признанием «своего основного» не только в философии, искусстве, но и в личности Мережковского.

У Пришвина было особое внутреннее видение Мережковского. «Ясно вижу его, — пишет он, — а ничего внешнего назвать не могу. В этом есть моя особенность, я вижу внутреннее и нахожу иногда с трудом во внешнем мире, в вещах

² М. Бахтин, Эстетика словесного творчества, М., 1979, с. 334.

³ См., например: А. Белый, Луг зеленый, М., 1910, с. 150; Вяч. Иванов, Родное и вселенское, М., 1918, с. 77.

и чертах как бы совпадение» (12 марта 1931 года. Архив В. Д. Пришвиной). Таким внешним и вместе с тем сложным символическим образом Мережковского был для Пришвина образ Светлого иностранца, который сопровождает Мережковского в замысле романа «Начало века», в «Заворонке», в Дневнике писателя.

Восприятие Мережковского как иностранца в России характерно для его современников. Так, А. Белый, говоря о загадке Мережковского и утверждая: «Он — загадка, которая упала к нам из будущего», — создает образ Мережковского как иностранца, явившегося в Россию начала XX века из страны Грядущего, страны «до времени укрытого Лица Единого»⁴, которую ему дано было увидеть. Образ Мережковского как «иностранца всему живому», писателя из страны мертвых, создает в раздраженно-недоброй и, в сущности, неубедительной статье «Мертвое мастерство» Р. Иванов-Разумник⁵.

Позиция Пришвина, очевидно, генетически восходит прежде всего к статье В. Розанова «Среди иноязычных». Мережковский, с точки зрения Розанова, — русский, живущий в России иностранцем, человек без глубинных бытийных связей с нею. Тема эта откликнется впоследствии у Пришвина так же, как и другая розановская тема — открытия чужестранцем Мережковским русского народа и России, в которой он увидит, а точнее, сочинит новую страну веры, где возможен синтез эллинизма и христианства. Вместе с тем образ Мережковского — иностранца в России имеет у Розанова другой — трагический смысл. Россия, где служители церкви «век за веком ... суживали Бога» и в результате «соделали» его образ по образу своему и плюшкинскому, превращается, по мнению Розанова, в страну, где непонятен язык Христа и где проповедник «истинного Христа» вынужден жить, словно «среди иноязычных». Поэтому судьба Мережковского в России видится Розанову нелепой и реальной человеческой трагедией. Розанов пишет: «Вот в эту-то пустыню "после Христа" и врезывается его проповедь, никого не побуждая к вниманию. И Мережковский со всем богатством совершенно новых тем ... являет вид того жалкого англичанина, который года три назад замерз на улицах Петербурга, не будучи в силах объяснить, кто он, откуда и что ему нужно»⁶. Трагическая нота в размышлениях

⁴ А. Белый, Луг зеленый, с. 146, 149.

⁵ Р. Иванов-Разумник, Мертвое мастерство, — В кн.: Р. Иванов-Разумник, Творчество и критика, Пб., 1922, с. 144.

⁶ В. Розанов, Среди иноязычных. — «Новый путь», 1903, № 10, с. 245.

Розанова о Мережковском также откликнется впоследствии у Пришвина.

Образ Мережковского как Светлого иностранца возник у Пришвина до личного знакомства с ним. «На берегу Светлого озера, — пишет Пришвин, — у меня создался романтический образ Светлого иностранца: он приходит к нам не с капиталом и голым знанием, а со словом истинного Христа» (31 мая 1909 года. Архив В. Д. Пришвиной). Пришвин не раз будет развенчивать этот возвышенно-романтический образ, но неизменным останется для него понимание Мережковского как «европейца, воспитанного человека в том лучшем образе, в каком мы представляем себе иностранца»⁷. Пришвин будет ценить Мережковского как человека, «по-настоящему образованного — это крайне редкое явление в России», — пишет он (25 июля 1926 года. Архив В. Д. Пришвиной). Пришвин увидит в Мережковском человека из «породы русских европейцев», которого Петровская реформа «поставила на перекрестке всех великих культур запада» и который, по словам Г. П. Федотова, выносил «всю тяжесть мучительной в России культурной работы»⁸. Возникает этот образ у Пришвина, очевидно, не только потому, что ему по личному опыту знакомо время, когда, как он пишет в «Кащеевой цепи», все хорошее называлось прогрессивным и местом происхождения его считалась Европа, что в сознании его жил образ «святой земли Европы», но и потому, что Пришвин, прошедший школу европейской, и прежде всего немецкой, культуры, чувствовал, как и Мережковский, как русские европейцы Пушкин и Достоевский, что у него две родины — Россия и Европа.

Образ Мережковского — европейца в России имеет у Пришвина еще один смысл, который раскрывается в следующих его дневниковых записях. «Читал Мережковского и пахло на меня этим чувством искания в России как в заповедной стране. Это самое замечательное у Мережковского, что он путешественник-европеец по России» (25 апреля 1920 года. Архив В. Д. Пришвиной). «Мое созвучие с Мережковским было в отношении к России как к неведомой стране» (3 января 1941 года. Архив В. Д. Пришвиной).

«Созвучие» это, очевидно, связано с тем, что любовь, даже, по словам З. Н. Гиппиус, «страсть к путешествиям, к новым местам»⁹ была присуща Мережковскому, как и

⁷ Пришвин о Розанове. — В кн.: «Контекст — 1990», М., 1990, с. 191.

⁸ Г. П. Федотов, Русский человек. — В кн.: Г. П. Федотов, Новый град, Нью-Йорк, 1952, с. 77—78.

⁹ З. Н. Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Париж, 1951, с. 14.

Пришвину. «Чувство дали» заставляло Пришвина быть «бродягой-писателем», как он говорил о себе. Мережковско-го трудно назвать писателем-путешественником, однако, как утверждает З. Гиппиус, путешествие было для него одним из условий творческого процесса. По ее словам, Мережковский «стремился, кроме книжного собирания источников, еще непременно быть там, где происходило действие, видеть и ощущать тот воздух и ту природу»¹⁰. С этим связаны его путешествия по следам Леонардо, Данте, «в страну раскольников».

Кроме того, чувство искания в России как в неизвестной стране объединяет Пришвина и Мережковского, очевидно, потому, что оба они в начале 1900-х годов пережили, каждый по-своему, момент открытия родной земли, открытия радостного и спасительного. У Мережковского это открытие связано не столько с его юношескими путешествиями по России, о которых он пишет в своей «Автобиографической заметке»¹¹, сколько с его поездкой к Светлому озеру в 1902 году, когда он собирал материалы для романа «Петр и Алексей». «Невозможно передать всего энтузиазма, с каким он рассказывал о крае этом и о людях»¹², — пишет скептический Розанов.

Для Пришвина открытие родной земли, точнее, возвращение к «забытой родине» — момент внутреннего переворота, который он переживает на рубеже веков и который называет «переворот: от революции к себе». Уход Пришвина от марксизма как дела жизни был для него возвращением от интеллигентской идейности и беспочвенности «к себе первоначальному», к тому исключительному чувству «священной природы», живой жизни человека на земле, которое ему было дано. В первых произведениях Пришвина («В краю непуганых птиц», «За волшебным колобком») заговорят прежде всего голоса языческой Руси, возникнет мир природы и народный русский мир, увиденный, однако, глазами возвращающегося блудного сына, глазами интеллигента и русского европейца.

Нечто подобное — открытие родного мира в керженских лесах, куда он попал прямо из Италии, — происходит и с Мережковским. Пришвин-художник рождается из биогра-

¹⁰ З. Н. Гиппиус, Дмитрий Мережковский, с. 60.

¹¹ Д. С. Мережковский, Автобиографическая заметка. — В кн.: «Русская литература XX в.», т. 1. Под ред. С. А. Венгерова, М., 1914, с. 292.

¹² В. Розанов, Среди иноязычных. — «Новый путь», 1903, № 10, с. 222.

фической ситуации: родной мир глазами блудного сына. Мережковский — «международный воляшок, человек без единой складочки русской души» (В. Розанов) — осознает себя родным русскому мужику с его исканием града духовного.

Вместе с тем момент «созвучия» Пришвина с личностью Мережковского — европейца в России соединяется в его сознании с чувством резкого отталкивания. Мережковский — иностранец, «чужой нам человек», ему не понять русского народа — рефрен в Дневнике Пришвина. Двойственность, даже полярность значений образа Мережковского как Светлого иностранца (русский европеец, путешественник-европеец, открывающий Россию, и все-таки иностранец, чужой нам человек) связана с тем, что в образе этом выражалось пришвинское понимание оторванности интеллигенции круга Мережковского от целостности народной жизни, к которой сам Пришвин чувствовал себя причастным, не случайно он писал впоследствии: «Я не народник, но я от народа, я хожок от народа» (23 января 1941 года. Архив В. Д. Пришвиной). Осознающая свой отрыв от народной жизни интеллигенция искала путей к народу. Истоком этого «второго хождения в народ» было, по мнению Пришвина, «стремление поэтов 900-х годов вернуть творчество к бытию». В Дневнике 1930-х годов Пришвин не раз будет писать о том, что «большие писатели и поэты» времени Мережковского «искали томительно выхода из литературы в жизнь и не могли найти» (1 февраля 1934 года. Архив В. Д. Пришвиной). Путешествие Мережковского к граду Китежу, с точки зрения Пришвина, было одной из попыток такого выхода.

Пришвин и Мережковский, каждый по-своему, причастны к той традиции русской культуры, которая связана с народным и интеллигентским исканием Невидимого Града. О точке соприкосновения интеллигентского и народного искания духовного града пишет Г. Федотов. Отмечая в интеллигенции ее знаменательные черты, в ряду которых вечное искание, раскрывающее ее причастность к эсхатологическому типу христианства, не имеющего земного града, но взыскующего небесного, он пишет о том, что в этой своей черте интеллигенция спасительно повторяет народное искание Невидимого Града, истоки которого в Древней Руси, в «кенотических силах народной религиозности»¹³.

Современники, писавшие о Мережковском, так или

¹³ Г. П. Федотов, Русский человек. — В кн.: Г. П. Федотов, Новый град, с. 71—72.

иначе, хотя и одинаково бегло, касались вопроса о его поездке к Светлому озеру. С недоброй иронией говорят об «опыте слияния» Мережковского с народом на Светлом озере В. Базаров и Р. Иванов-Разумник¹⁴. Розанов в статье «Среди иноязычных» подчеркивает глубинную, таинственную, как он говорит, связь Мережковского с русским старообрядчеством, проявившуюся не только в его позиции защитника истинной веры, но и в отвлеченности (в том, что В. Зеньковский назовет «нетрезвым отношением к истории»). «Игрок запойный» в символы, он нашел себе партнера¹⁵, — замечает Розанов. С этим связан его скепсис в отношении к встрече Мережковского с народом. Розанов видит его «чисто детский восторг к русскому мужику», сочиненность его России, его русского народа. А. Блок в статье о Мережковском 1909 года тоже подчеркивает его связь с русским расколом. Но Блок сумел разглядеть в душе и сердце утонченного европейца Мережковского «мужицкий угол», и значение Мережковского в современной ему культуре определяется, с точки зрения Блока, прежде всего тем, что в темном мужицком углу его сердца горит лампада граду обетованному¹⁶.

Пришвин на Светлом озере сталкивается с загадкой: что соединило здесь эстета Мережковского, явившегося к граду Китежу не в лаптях, а барином и даже с урядником на козлах, с русскими мужиками, заявившими Пришвину: «Мережковский наш». Его объединила с мужиком главная тема русского раскола — антихрист. «В этой точке на Светлом озере сходятся великие крайности русского духа»¹⁷, — пишет Пришвин. Мережковского роднит с русским мужиком мироощущение человека, «настоящего града не имеющего, грядущего града взыскующего».

В связи с Мережковским, явившимся к Светлому озеру «со словом истинного Христа», Пришвин пишет в Дневнике: «Истинную вражду я чувствовал тогда к прежнему ин-

¹⁴ В. Базаров, Христиане Третьего Завета и строители Башни Вавилонской. — В кн.: «Литературный распад», кн. 2, СПб., 1909, с. 34; Р. Иванов-Разумник, Мертвое мастерство. — В кн.: Р. Иванов-Разумник, Творчество и критика, с. 87—88.

¹⁵ В. Розанов, Среди иноязычных, — «Новый путь», 1903, № 10, с. 222.

¹⁶ А. Блок, Мережковский. — В кн.: А. Блок, Соч. в 8-ми томах, т. 5, М., 1962, с. 360—366.

¹⁷ М. Пришвин, Дневники. 1905—1954. — В кн.: М. Пришвин, Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8, М., 1986, с. 35. Далее ссылки на произведения, входящие в это Собр. соч., приводятся в тексте с указанием в скобках тома и страницы.

телигенту с его умилением перед мужиком и разговорами о земле и всяких экономических отношениях» (Архив В. Д. Пришвиной). Знакомый по собственному опыту с народниками и марксистами, Пришвин увидит в Мережковском представителя нового поколения русской интеллигенции, от атеизма возвращающейся к «слову истинного Христа», а значит, и к народу. Впоследствии в Дневнике 1917 года Пришвин будет писать о Мережковских как о «революционерах-индивидуалистах, ищущих пути к соборности через отечество Града Невидимого»¹⁸.

Представление о Мережковском, возникшее у Пришвина на Светлом озере, будет критически переосмысливаться (в частности, в повести «У стен града невидимого»), корректироваться, но неизменным и главным останется для Пришвина причастность Мережковского к «отечеству Града Невидимого». Пришвин всегда знал, что Град Невидимый — общая у него с Мережковским духовная родина.

Повесть «У стен града невидимого», созданная Пришвиным по материалам поездки к Светлому озеру, — важный момент диалога Пришвина-художника с Мережковским. Повесть диалогически ориентирована на путевой дневник З. Гиппиус «Светлое озеро», статью Мережковского «Революция и религия», где он рассказывает о поездке в керженские леса, и его роман «Петр и Алексей». Произведения эти едины по проблематике: народ и интеллигенция, церковь и культура, церковь и государство, православие и русская история, язычество и христианство, — но вместе с тем повесть Пришвина внутренне полемична по отношению к произведениям Гиппиус и Мережковского. Для З. Гиппиус и ее спутника заволжские леса — это «как будто не та земля, на которой стоит Петербург»¹⁹, и едут они в тревоге: найдут ли хоть одну живую душу в этой неизвестной земле. Пришвин не чувствует так «остро», как они, деления на «них» и на «нас» — народ и интеллигенцию. Он едет к Светлому озеру по «родной земле» и знает, что в стихии народной «есть все, она отвечает на наши вопросы» (т. 1, с. 419). Вслед за Мережковскими Пришвин видит близость эсхатологического религиозного сознания народа и интеллигенции, но он не переживает того восторга «слияния» с народом, который испытали Мережковские у стен града невидимого. З. Гиппиус на холмах Светлого озера видит «зерно, отку-

¹⁸ М. Пришвин, Дневники. 1914—1917, М., 1991, с. 375.

¹⁹ З. Н. Гиппиус, Светлое озеро. — «Новый путь», 1904, № 1, с. 173.

да может вырасти истинная культура»²⁰. Мережковский в керженских лесах откроет для себя, а точнее, сочинит, что идеи его о грядущей церкви Иоанна, Сына Громова, являются самым нужным для народа, что они необходимы ему «для первой нужды, для земли и воли»²¹. Герою Пришвина, как и самому автору, у Светлого озера открывается «трагедия духа русского народа», связанная с разрушением единства церкви. Истоки этой трагедии Пришвин видел в расколе XVII века. Перед героем повести «У стен града невидимого» в России 1900-х годов проходит «вся история христианства» (т. 1, с. 472): видимой и невидимой церкви от пустынников, града Китежа, раскола, протопопа Аввакума до многоликого сектантства начала XX века и религиозных исканий авторов журнала «Новый путь». Журнал этот читают и изучают сектанты керженских лесов, обсуждая проблемы петербургских Религиозно-философских собраний. Дух сектантства с его «освобожденным и нелепым "я"» (т. 1, с. 471) роднит, с точки зрения Пришвина, «лесных искателей» и интеллигентов крута Мережковского. Вместе с тем Пришвин видел и глубинную связь Мережковского с народом в объединяющем их эсхатологическом религиозном сознании.

Разрушение единства церкви, утверждает автор повести «У стен града невидимого», ведет к разрушению самой жизни. «В Черном море утонули ключи от единой церкви, загрязнен зеленый вертоград жизни. Приложи ухо к дереву. Земля плачет. Земля оголяется», — складывает народ свою сказку о жизни, и герой Пришвина, как и автор, чувствует «народную боль по единой церкви», утраченной так же, как и «единый смысл» (т. 1, с. 420, 421).

Тихон, герой романа Мережковского «Петр и Алексей», «человек богоискательный», странствующий по всем идеям автора, в финале теряет веру в невидимый Китеж-град. Для него, как и для автора, земная «церковь мертва», а Китеж — «царство земное» — ее часть. Тихон становится сыном Церкви Громовой, Новой Церкви Грядущего Господа. Герой Пришвина, начавший свой путь с сомнений, более того, с отказа от Китежа—Иерусалима, который «спускается людям за чертою всего земного», но странствующий не по идеям, а по стихиям русской жизни, обретает веру в невидимый Китеж-град. Китеж его — «второй, отраженный», возникший из лучей веры народной, он — часть той «книги

²⁰ З. Н. Гиппиус, Светлое озеро, с. 173.

²¹ Д. С. Мережковский, Революция и религия. — В кн.: Д. С. Мережковский, Полн. собр. соч., т. 13, М., 1914, с. 89.

жизни», которую читает герой Пришвина. «Я не сочиняю людей для символов» (т. 1, с. 786), а «читаю жизнь» (т. 1, с. 472), — так полемически по отношению к Мережковскому Пришвин, для которого символ — важнейшая черта собственной поэтики, определит свою позицию художника. В Мережковском, авторе «Петра и Алексея», он почувствует не только противоречивость его связей с народом, но и противоречие художника и религиозного искателя, идеи и жизни. Позднее, в Дневнике 1915 года, ценя в Мережковском романиста, Пришвин напишет об этой его противоречивости: «В кружке Мережковского было отношение к старой религии милостивое и даже любовное, а что он как будто бы вынимал из ножен меч, то это было неверное, ненастоящее. Старая религия, отчасти как источник для искусства, отчасти как материал для романов с перспективами глубочайших открытий, глубочайших соприкосновений с народной душой»²².

Повесть «У стен града невидимого» обнаружила противоречивость личности Мережковского и побудила Пришвина к продолжению исследования сторон русской жизни, открывшихся ему в этой личности. Пришвин хотел написать вторую часть повести, но она так и не была создана.

Пришвин появляется в салоне Мережковских в октябре 1908 года с рукописью повести «У стен града невидимого» не только для того, чтобы передать поклон от костромских мужиков со Светлого озера, но и потому, что в личности Мережковского он почувствовал какую-то тайну русской жизни. «Что-то загадочное манит меня», — пишет он в раннем Дневнике (Без даты. Архив В. Д. Пришвиной).

Ощущая в себе родившую его «глубину природы», Пришвин встречает здесь, открывает прежде всего в личности Мережковского «глубину всемирной культуры от Эсхила до Леонардо, от Платона до Ницше» и, добавим от себя, от Петра до Пушкина и русского религиозного возрождения начала XX века. Пришвин проходит «школу Мережковских», осваивая новый для себя круг идей. С этой точки зрения характерна такая, например, дневниковая запись Пришвина: «Не представляю себе ясно — что же они хотят от интеллигенции... «уклонить ее на путь богоборчества или богоотступничества» — что это значит?» (т. 8, с. 37). Впоследствии одна из важнейших идей Мережковского, связанная с его осмыслением богоборчества Иова и Иакова, — идея о безбожии интеллигенции как «святом богоборчест-

²² М. Пришвин, Дневники. 1914—1917, с. 204—205.

ве», ведущем к богосыновству, а не к богоотступничеству, — не раз откликнется в творчестве Пришвина, и прежде всего в вершинах его философской прозы — «Кашеевой цепи», «Повести нашего времени», «Мы с тобой». Во многом благодаря Мережковскому, которого он назовет своим учителем, Пришвин откроет истоки своего писательского миропонимания. В 1933 году, вспоминая слова Мережковского: «Поймите красоту "Капитанской дочки" ... нужно научиться понимать красоту в простоте», — Пришвин осознает, что именно эта повесть Пушкина с ее «утверждением мира в гармонической простоте» — его истинная писательская родина (т. 8, с. 38, 679).

В 1908—1909 годах, как свидетельствует Дневник, Пришвин испытывает сильное влияние личности Мережковского, в результате чего появится в Дневнике 1915 года запись-признание: «Его я люблю как человека и уважаю как большого писателя и даже учителя»²³. Пришвин будет даже писать о рабстве перед авторитетом Мережковского (т. 8, с. 38). Но это кратковременное влияние сопровождается сомнениями и сильным отталкиванием. В раннем Дневнике Пришвин выразит свое отношение к Мережковским словами: «И возмущение Мережковскими и тяга к ним» (Без даты. Архив В. Д. Пришвиной).

После первого посещения Мережковских Пришвин отмечает в Дневнике: «Мне открывается что-то новое, большое, я понимаю значительность этого знакомства» (7 октября 1908 года; т. 8, с. 33). 18 января 1909 года: «Каждый день, переживаемый теперь мной, год в моем развитии» (т. 8, с. 40). 7 февраля 1909 года: «Они мое счастье, они меня дали миру» (Архив В. Д. Пришвиной). Но 15 мая 1909 года Пришвин записывает: «У Мережковских я встретил новые цепи. Практически: от меня требовали простого подчинения, а у меня свобода. Пришлось отшатнуться» (Архив В. Д. Пришвиной).

Критическая оценка Пришвина рождается уже после первых посещений Мережковских: «Воплощение, искупление, папироски, женщины, похожие на актрис, эти священные поцелуи в лоб... Секта... И как это далеко от народа» (т. 8, с. 36). Пришвин различает двойную природу секты (будь то секта народных религиозных искателей, интеллигентов или революционеров-социалистов). Черты сектантства, с его точки зрения, это «уродливость индивидуализма, нетерпимость, частичность, ложность от частичного при-

²³ М. Пришвин, Дневники. 1914—1917, с. 204.

ятия мира». Все эти черты сектантства Пришвин увидит у Мережковских. «Секты неинтересны потому, — пишет он, — что в них нет вселенского». Вместе с тем сектантство, считает Пришвин, это «сохранение чего-то вечно природного, присущего всему миру» (Без даты. Архив В. Д. Пришвиной). Эта двойная природа секты во многом позволяет понять притяжение-отталкивание, характерное для отношения Пришвина к Мережковским.

Вновь религиозные искания Мережковского и притягивают Пришвина, и вызывают его возмущение. Так, Пришвин пишет: «На религиозно-философском собрании. Впечатление первое о Мережковском — эллинский Христос, второе — Бог произнесен, это есть грехопадение. Я не хочу говорить о Боге, потому что берегу его» (Без даты. Архив В. Д. Пришвиной). Пришвин увидит в Мережковском не только личность «небывалую», человека начинающего, но и человека нарушающего, причем нарушающего существенное в христианстве, в результате чего у него возникнет потребность защитить от Мережковского свою веру.

«У нас в России одни верят и молчат, а другие разговаривают о Боге»²⁴, — замечает Пришвин. Он не раз писал о том, что Мережковский — «только словесник» (т. 8, с. 39), что он «совершенно не способен быть в жизни, он не человек быта, плоти и крови»²⁵, что он не живет, а сочиняет теории²⁶ и в теориях своих «истекает словами, как кровью» (т. 8, с. 40). Закономерно, что философские идеи Мережковского Пришвин воспринимал прежде всего личностно-человечески — как сферу жизни, а не сферу мысли только. Так, после чтения в 1919 году книги Мережковского о Толстом и Достоевском Пришвин пишет в Дневнике: «Есть и мое основное в его философии и вот что: 1) ужас перед старинным черным Богом; 2) чувство неприкосновенности дома моей личности» (16 декабря 1919 года. Архив В. Д. Пришвиной).

Причастность к «школе Мережковских» не раз давала Пришвину возможность убедиться в том, что Мережковский — не только утонченный европеец, но прежде всего русский интеллигент, у которого идеи подменяют жизнь, а «словесное творчество» подменяет веру. Пришвин чувствовал, что идеи Мережковского не вырастают, по словам Г. Федотова, «из самой жизни, из ее иррациональных глу-

²⁴ М. Пришвин, Дневники. 1914—1917, с. 163.

²⁵ Там же, с. 30.

²⁶ Там же, с. 196.

бин как высшее ее рациональное выражение»²⁷. Противоречие сферы идей и жизни у Мережковского достигает такой глубины, что Пришвин пишет о бумажном, словесном характере явлений культуры, создаваемых им. Более того, Пришвин пишет о «бумажном Христе» как главном герое книги, в которую Мережковский превращает «всю культуру»²⁸. Все созданное Мережковским, художником, религиозным философом, Пришвин мыслит как некую книгу — символический образ культуры, создающейся взамен жизни в ее полноте. В «начале века» у Пришвина рождаются два символических образа книги: земли (жизни) как «развернутой зеленой книги» (т. 8, с. 23), родины человека, и «страшной книги», связанной с выхолащиванием смысла, — образ рационального ограничения человека и мира, подмены целого частью. Образ «страшной книги», в которую Мережковский превращает культуру, заставлял Пришвина думать о необходимости защиты культуры «от религиозно-философских посягательств» на нее со стороны Мережковского. Функцию эту в «начале века», с точки зрения Пришвина, выполнял, в частности, Ремизов.

Однако Пришвин не присоединяется к тому большинству русской интеллигенции, которое «бранит» Мережковского. Об этом он пишет, например, рассказывая о знакомстве с М. Волошиным: «Заводим речь с поэтом о Петербурге. Он бранит Религиозно-философские собрания и Мережковского. Как все бранят» (т. 8, с. 42). Пришвин видел в Мережковском человека, жизнь которого, «несомненно, проходит с бесами» (29 августа 1928 года), но он знал также, что Мережковскому дано было видеть Божественный свет. Он пишет о «лично опутимом Мережковским Божественном свете» (29 марта 1950 года. Архив В. Д. Пришвиной). После 1909 года Пришвин отходит от Мережковского, сохраняя тем не менее «на него ... в душе надежду». Позиция Пришвина с этой точки зрения близка позиции Блока, видевшего, что «за логичными, блестящими и оспоримыми теориями» Мережковского «стоит вера безглагольная, неоспоримая»²⁹.

Пришвин всегда чувствовал трагическое начало в личности Мережковского. В речах его о «вечности плоти, об ис-

²⁷ Г. П. Федотов, Трагедия интеллигенции. — В кн.: Г. П. Федотов, Судьба и грехи России, в 2-х томах, т. 1, СПб., 1991, с. 70.

²⁸ М. Пришвин, Дневники. 1914—1917, с. 56—57.

²⁹ А. Блок, Мережковский. — В кн.: А. Блок, Соч. в 8-ти томах, т. 5, с. 365.

куплении, воплощении, теургии» и т. д. Пришвин слышал и другое: «Всякому легко меня можно разбить. Я хотел бы быть последней бездарной овдой, но в Боге». Пришвин видел в Мережковском «словесника, который искренно хочет отказаться от словесности, то есть от самого себя» (т. 8, с. 39). В Дневнике и в «Заворошке» Пришвин приводит слова Мережковского, связанные с осознанием им своего пути: «Мережковский говорил о себе: был рев. народником, самодержавие, ницшеанство. Наш трагизм вот в чем: это не мы, но мы должны говорить — это мы. Мы не донесем, я знаю, мы не донесем, но другие понесут» (т. 8, с. 62). Слова эти осознавались Пришвиным не только как вариация на известную тему Мережковского «Слишком ранние предтечи слишком медленной весны». В Мережковском Пришвин видел фигуру переходную: в нем идейность и беспочвенность русской интеллигенции XIX века, и попытка вырваться из трагической ситуации «Афина против Геи» (Г. Федотов) на путях к целостности народной и религиозной жизни, и сохранение в этом прорыве идейности и беспочвенности своей.

Пришвин видел в личности Мережковского трагизм того поколения русских интеллигентов, атеистов и революционеров, в судьбе и жизни которого начался сложный и трудный, нередко связанный с «безблагодатным опытом», с блужданием между религией и культурой, когда «философия и поэзия подменяют веру», путь возвращения к христианству и церкви. Пришвин и сам принадлежал к этому поколению. В раннем Дневнике Пришвин называет Религиозно-философское общество, у истоков которого — Религиозно-философские собрания в Петербурге 1901—1903 годов, возникшие по инициативе Мережковских, «обществом экспериментаторов». Жизнь и судьба Мережковского открывают Пришвину двойственную природу всякого начала: в нем разрушение и творчество, «радость нового» и «соблазн беса благих начинаний» и некрасивость («Голое начало всегда некрасиво», — т. 1, с. 709). В 1930 году, раздумывая о судьбе Мережковского, Розанова и Ницше, Пришвин напишет: «Не начинать, а причаститься, продолжить творческое мира» (Архив В. Д. Пришвиной).

В богоискательстве Мережковского Пришвин увидит момент трагического прозрения русской души, предчувствующей исторические катастрофы XX века. В 1915 году он напишет в связи с Мережковским: «И что бы враги ни говорили о Религиозно-философских собраниях, а историк отметит это искание Бога перед мировой катастрофой, как

все равно простонародный летописец не упустит сказать о горевших лесах в июле 14 года и о померкнувшем от дыма солнце»³⁰. В январе 1940 года до «духовного переворота», о котором Пришвин расскажет в книге «Мы с тобой», своего второго внутреннего переворота, он будет писать о «школе Мережковских»: «В этой кузнице, хотя бы для меня, ковалась та вера, которая держит меня и сейчас» (Архив В. Д. Пришвиной).

Эти слова писателя раскрывают глубинный сюжет в диалоге Пришвина и Мережковского, суть сюжета в раннем Дневнике Пришвина будет обозначена словами «искание Бога». «Если они эстетическими путями своими, то есть свободно, по пути призвания своего, пришли к Истинному, то почему же для других этот путь исключается», — пишет Пришвин в связи с Мережковскими, осознавая тайну «своего пути» (Без даты. Архив В. Д. Пришвиной). Осмысление личности Мережковского в ее противоречивости было для Пришвина отправной точкой самосознания. Противоречия Мережковского (между идеей, культурой и жизнью, между искусством и религией) — противоречия поколения — Пришвин изживал в собственной судьбе и в творчестве своем. Уже в первом произведении Пришвина появятся и сохранятся до последнего его произведения три основных типа героев. Во-первых, коллективный герой — группа бегло очерченных персонажей, представляющих многоголосый хор народной и природной жизни. Во-вторых, «частичный» человек, полноты бытия не знающий и судящий о мире «по себе», человек, «защитый схемами». В-третьих, герой пути, духовно-нравственного поиска, пытающийся раскрыть в собственной жизни возможности, заложенные в нем природой, судьбой и вечностью. Главный герой, включенный в многоголосый хор жизни и всегда имеющий у Пришвина автобиографический характер, обычно совмещает в себе героя пути и «частичного» человека, он существует в сюжете в ситуации субстанциального внутреннего конфликта. Эта особенность автобиографического героя Пришвина позволяет понять существенное в судьбе автора, живущего в постоянном преодолении своей «частичности» на пути к целостности бытия.

Писательский путь Пришвина и его «искание Бога» будут неразрывно связаны. Сам он писал об этом: «Моя «поэзия» происходит вся из врожденного религиозного чувства, которое при дурном уходе за ним со стороны семьи, школы

³⁰ М. Пришвин, Дневники. 1914—1917, с. 204.

и церкви обрушилось на собственные силы»³¹. В. Д. Пришвина в своей неоконченной книге о писателе³² назвала его путь, путь человека и художника, путем к Слову. На своем пути богоискания Пришвин переживает два внутренних переворота, уже упоминаемых: первый — «переворот: от революции к себе» — связан с началом XX века, второй — с 1940-м годом.

Духовный переворот 1940 года был результатом встречи Пришвина с В. Д. Лебедевой и их любви. Суть его состояла в том, что Пришвин, обходившийся «в жизни с Богом, не спрашивая о Нем, не называя Его», признал себя человеком верующим³³, «назвал имя Бога, которому веровал», вернулся к церкви. В. Д. Пришвина увидит в духовном перевороте писателя «рождение живой веры (взамен рассудочных мнений), веры, становящейся единственно достоверным и дорогим во вселенной. Такая вера, — скажет она, — есть по существу рождение Бога в человеке» («Мы с тобой». Архив В. Д. Пришвиной). Духовный переворот 1940 года, сделавший путь Пришвина внутренне завершенным, превратит его долгое «искание Бога», важнейшей вехой в начале которого было его путешествие к граду Китежу, в «простой, но таинственный» (т. 8, с. 24) круг жизни. В 1940 году Пришвин откроет для себя: «Есть на земле какая-то страна в невидимых для посвященного границах, где живут только хорошие люди. Оказалось, об этой стране я и думал, когда в молодости ходил с мужиками искать невидимый град в керженских лесах» (№ 8, с. 262).

Духовный переворот 1940 года был для Пришвина и переосмыслением своего пути, пути своего поколения, и нравственным судом над собой. В суде своем Пришвин возвращается к истокам своего писательского пути, к «началу века».

«Переворот: от революции к себе» — уход от марксизма и революционной деятельности, в ходе которого рождается Пришвин-художник, — был для него и поиском собственного «я», и утверждением в чувстве «самости», и «исканием Бога». Близкий к этому путь от веры в марксизм, в Бельтова — Плеханова, «мечты о спасении человечества и мировом взрыве» к художеству в годы тюрем и ссылок — на рубеже веков — проходит А. Ремизов, в школе которого Пришвин начинался как писатель.

³¹ Пришвин о Розанове. — В кн.: «Контекст — 1990», М., 1990, с. 187.

³² В. Д. Пришвина, Путь к Слову, М., 1984.

³³ М. Пришвин, Мы с тобой. — «Дружба народов», 1990, № 9, с. 237, 246. Далее ссылки на это произведение в журнальной публикации приводятся в тексте с указанием в скобках номера журнала и страницы.

Юность Пришвина, называвшего себя «комсомольцем XIX в.» и «рядовым марксистом», совпадает с двумя важнейшими этапами в истории русской интеллигенции: сменой идеологии народничества идеологией марксизма и переходом «критического течения» в марксизме к тем процессам в культуре, которые приводят к религиозному возрождению начала XX века. Поступив в 1893 году в Рижский политехникум, Пришвин попадает в атмосферу борьбы марксистов с народниками и становится марксистом. В книге «Мы с тобой» он пишет об этом — почти десятилетнем — периоде своей жизни: «В свое время я был рядовым марксистом, пытался делать черновую работу революционера и твердо верил, что изменение внешних условий (материальных) жизни людей к лучшему непременно приведет их к душевному благополучию» (№ 6, с. 245).

Марксизм Пришвина — явление неоднозначное, не случайно он скажет о нем в 1922 году: «Мой фантастический марксизм» (12 сентября 1922 года. Архив В. Д. Пришвиной). Пришвин, подобно многим своим современникам, переживал марксизм как религиозный феномен, в нем ему особенно важен был «момент света» (т. 8, с. 62). О марксистском кружке, членом которого Пришвин был, он пишет в раннем Дневнике: «Нас было человек пятнадцать. Мы жили на высокой горе и молились какому-то Богу. Не говоря друг другу ни слова, мы дали в душе обет безбрачия и целомудрия» (Архив В. Д. Пришвиной). Марксизм Пришвина рождался из чувства сострадания, из осознания несправедности мира и идеи его спасения, он понимался как высокое жертвенное служение ближнему. «Перед тюрьмой. Казалось тогда, что не эта кучка людей, а весь мир переделяется, не в учености было дело, а в вере. Маркс значило Евангелие, экономическая необходимость — идея церковности» (Без даты. Архив В. Д. Пришвиной). «И мы пошли за мир, за женщину будущего в тюрьму. Допросы, жандармы, окно с решеткой и свет в нем» (т. 8, с. 62).

О внутренней логике «переворота: от революции к себе» Пришвин напишет в Дневнике 1922 года, когда им была начата работа над романом «Кашеева цепь», художественно воссоздающим и этот «переворот» писателя, и в целом движение русской атеистической интеллигенции «от марксизма к идеализму», от идеи революционного разрушения родины к идее исторического творчества, понимаемого как проявление всеобщего творчества жизни. «Я был рядовым верующим марксистом-максималистом (почти как большевик), — писал Пришвин. — Мой фантастический марк-

сизм владел мною все-таки лет десять всего. Начал он рас-сасываться бессознательно при встрече с многообразием европейской жизни, сильнейшую брешь ему нанесла встреча с ней и окончательно то чувство самости, которое охватило меня, когда я после нескольких лет агрономической деятельности в России нашел свое призвание в литературе» (12 сентября 1922 года. Архив В. Д. Пришвиной).

В раннем Дневнике Пришвина, отражающем период «переворота: от революции к себе», основная тема его размышлений о своем революционном прошлом — это традиционная тема русской культуры: социализм и христианство. Пришвин видит в социализме идею, подменяющую жизнь. Он чувствует после «марксистского экономизма» свою «полную оторванность от народа». В связи с В. Д. Ульрихом, который послужит в будущем прототипом одного из героев «Кащеевой цепи», Пришвин скажет: «Жизнь как вывод из философии» (Без даты. Архив В. Д. Пришвиной). Пришвин пишет о ложном свете социализма: «Не есть ли социализм стремление тайное личное Христово начало сделать общим, спаять людей в единоличное существо творческое здесь, на земле? В таком случае почему у них убийство, отсутствие творчества, рационализм, ненависть к религии и проч.?» (Без даты. Архив В. Д. Пришвиной). Ранний Дневник писателя свидетельствует о том, что Пришвин окончательно уходит от служения неведомому «какому-то Богу», от марксизма и социализма как дела жизни, но они останутся для него важнейшим предметом мысли.

«Фантастический» марксизм Пришвина связан с его богоборческим бунтом. У них один источник — осознание несправедности мира, лежащего во зле. Богоборческий бунт Пришвина, как и его марксизм, — это «бунт во имя настоящего бытия» (т. 8, с. 65). В богоборчестве своем Пришвин назовет Библию «страшной книгой», Евангелие — скучной брошюрой, напишет о том, что «религиозное чувство, как и поэтическое, есть поправка жизни» (т. 8, с. 63). В состоянии, о котором он говорит: «Я не религиозный человек», — мир предстанет перед ним не «лугом с бессмертными цветами», а каменным истуканом: «Настоящий мир, подлинный, без нас есть каменный, и это мы украшаем его цветами, а сам мир каменный, и так он существует: каменная баба» (Без даты. Архив В. Д. Пришвиной).

Из чувства черного страшного бога, равнодушного к человеческому страданию, рождается пришвинская притча о современном человеке как втором Адаме. Притча эта своеобразный итог раздумий Пришвина о судьбе русского кре-

стыяства с его уверенностью — «земля — Божья» и извечным криком-стоном: «Земли!» Притча в разный период творчества будет наделяться автором разным смыслом. В раннем Дневнике она носит богоборческий характер. «Богу наскучили все человеческие жалобы, ропот. Он вновь сказал: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию». И вновь был сотворен человек из глины и воды, но с бессмертной душой. И вновь рай был открыт для них. Но они опять согрешили. И опять были изгнаны из рая в поте лица добывать хлеб свой и вновь обрабатывать землю. Бог упустил из виду, что земля уже не та. Прежние люди всю до клочка захватили ее. Новые люди напрасно искали земли» (Без даты. Архив В. Д. Пришвиной).

Осознавая себя самого таким вторым Адамом, Пришвин пишет о «чувстве глубочайшей несправедливости к себе» этого Бога, о том, что он «отворачивается», «уходит» от этого Бога. «Не видна ли ошибка в самом Промысле? Разве я могу принять Бога, когда им совершена основная несправедливость относительно меня? Не здесь, а там неладно. Там ошиблись, оттого и здесь не так, как надо» (Без даты. Архив В. Д. Пришвиной). Вопрос о природе зла, тема невинного страдания («бедного Евгения») станут постоянным предметом мысли для Пришвина-художника.

Мережковский не раз писал в связи с судьбой русской интеллигенции о том, что «от богоборчества есть два пути, одинаково возможные — к богоотступничеству и к богосыновству»³⁴. Ранний Дневник Пришвина свидетельствует о том, что он шел не к богоотступничеству, а жил в напряженном «искании Бога». Особенности этого «искания» связаны с тем, что в своем уходе от марксизма Пришвин возвращается от нечувствия действительности, от «каменного» мира, в котором властвуют законы экономической необходимости, от пустой вселенной естественнонаучного рационализма «к себе первоначальному», к той «глубине природы», из которой он вышел. «От детской веры я отстал, но так вообще близок к вере, думаю о Боге, что главное в нем то, что он существует помимо меня», — пишет Пришвин (Без даты. Архив В. Д. Пришвиной). Лейтмотив Дневника — мотив «искания не своего мира», «искание Бога, чего-то вне себя, что можно достичь и верить» (Без даты. Архив В. Д. Пришвиной). Искание этого мира оказывается связанным для Пришвина с постижением «земли как развер-

³⁴ Д. С. Мережковский, М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества. — В кн.: Д. С. Мережковский, Полн. собр. соч., т. 16, М., 1914, с. 184.

нутой зеленой книги», Бог открывается ему на «границе природы и человека» (т. 8, с. 16). Это во многом, если не в главном предопределяет особенности пришвинского «искания Бога».

После пустого и «каменного» мира, когда и «свет Мадонны» лишь «надстройка над экономической необходимостью», Пришвин остро переживает духовную сторону жизни. «Бог есть дух, значит жизнь в Боге есть одухотворение ее», — вновь чувствует он (Без даты. Архив В. Д. Пришвиной).

Ранний Дневник Пришвина — во многом — дневник человеческой души, причем души художника, осознающего мир в Боге, переживающего «живую собой и в Боге ощутимую жизнь». Переживания эти разноплановы, но основное в них — это любовь как сорадование, чувство того, что Бог сотворил мир прекрасным и радовался сотворенному. В 1920-е годы О. Поль, русский религиозный философ³⁵, судьба и идеи которого войдут в жизнь Пришвина в 1940 году вместе с В. Д. Пришвиной, в книге «Остров Достоверности» напишет об этом: «Любовь — это радость о бытии ... просто о бытии», это умозрение таинственной глубины другого³⁶.

Радость о мире и Творце — лейтмотив в Дневнике Пришвина: «Признаю, что мир, созданный Богом, прекрасен, хороша земля, украшенная цветами ... Как хорошо в лесу. И сердце шепчет: «Богородица, Дева, радуйся» ... Молитва. Утро раннее, когда все дома спят, а на небе, чуть виднее в полумраке, летят птицы, руки сами складываются молитвенно, и радость о сотворенном и вечном делает участником всего мира ... Я хотел бы звонить о самой простой человеческой радости в большой колокол» (Архив В. Д. Пришвиной). Очевидно, что радость у Пришвина — не то чувство слияния со стихийно-безличной, бессознательной жизнью природы, которое его современники, и в частности Мережковский, называли языческой радостью жизни. Кроме того, радость эта соединялась в душе Пришвина с ощущением трагически-страдальческого начала жизни, лик черного страшного бога Пришвин увидит и в природе, которую он воспринимает и как изначально священную, божественную, и как греховную. В Дневнике и творчестве Пришвина 1900-х годов появляется важная для писателя тема

³⁵ См. о нем: В. Д. Пришвина, Иеромонах Онисим (Поль). — «Человек», 1991, № 5, с. 110—112.

³⁶ Иеромонах Онисим (Поль), Любовь как условие возможности Царства Божия. — «Человек», 1991, № 5, с. 115.

страшного черного бога и Бога светлого, тема истинного и ложного света. Не рассматривая эту тему писателя в ее генезисе и эволюции — это требует специального исследования, — отметим, что в 1940 году, называя имя Бога, в которого всегда веровал и который творит любовь на земле, Пришвин назовет и имя страшного бога, которому «жертва нужна»: Сатана (№ 8, с. 267).

В раннем Дневнике Пришвина возникает повторенный затем в «Кашеевой цепи» образ, воссоздающий таинственную природу зла, обреченность мира злу, образ, несущий чувство греховности мира и «преступления, общего всему миру». В дни, «когда весной покрывается зеленью земля», «иногда вдруг с шумом срываются птицы с большого старого дерева и мчатся в ужасе. И слышится в глубине сада сдавленный крик, все слабеющий и слабеющий» (т. 8, с. 25—26). В земле, которая прекрасна и которой Пришвин «готов бы молиться», он чувствует «что-то такое», от чего «каждый, с ней соприкасающийся, становится низменным, пошлее» (Без даты. Архив В. Д. Пришвиной). «Земная жизнь сама по себе есть любовь и убийство, — пишет Пришвин, — а стремление человеческого сознания устранить убийство и оставить одну любовь» (т. 8, с. 16). Тема грехопадения и спасения мира как дела человеческого и Божеского станет одной из важнейших в творчестве Пришвина, повторяющего — как лейтмотив — в Дневнике и в повести «За волшебным колобком»: «Мужа ждет земля, который бы взял ее и просветлил до конца» (Без даты. Архив В. Д. Пришвиной). Радость жизни у Пришвина есть осознание жизни как величайшей ценности в христианском, а не в языческом смысле. Так, он пишет: «Смерть Христова есть вера в жизнь. В смерти, добровольно принятой «за други», новая жизнь, смерть физическая — источник новой жизни и тогда принимается с радостью. Жизнь так ценна по Христу (настоящему), что за нее нужно смерть принять. Языческие страхи: жизнь в своем материальном вещественном виде так ценна, что смерть за жизнь кажется просто смертью» (Без даты. Архив В. Д. Пришвиной).

Бог, являющийся человеку в радости, Творец мира, видится Пришвину то как «зеленый сияющий Бог», то как «Бог счастья, надежды, жизни», то как «живое творческое начало», Бог, «зовущий к творчеству жизни» (Архив В. Д. Пришвиной). Пришвин назовет его вслед за о. Николаем, священником в Новгороде, Великим Художником.

«По точному плану Его творений, я творю свои», — пишет Пришвин. В Дневнике рождается целый ряд образов-

символов, связанных с переживанием мира как совершенного творения Божия, первообразом многих из них становится цветок — образ, принадлежащий, как и образы сада, луга, камня, ручья, воды, леса и т. д., к ряду символов-констант творчества писателя. «Есть в природе прекрасные факты, неопровержимые, независимые от нашего воображения, нашего творчества, например, цветок», — пишет Пришвин (Без даты. Архив В. Д. Пришвиной). Из этого «факта» рождается пришвинский образ мира — круга, «простого, но таинственного», с «желтым золотым цветком» в середине неба. Пронизанность мира светом (лейтмотив в Дневнике Пришвина) переживается им как ощущение «потока множества маленьких искорок — цветков везде, куда ни взглянешь» (т. 8, с. 21, 24).

В Дневнике писателя рождается образ мира — «луга с бессмертными цветами»: «Луг цветет. Хочется удержать навсегда это луговое цветущее царство, построить мир по образу этого луга с бессмертными цветами. Но тут не должна быть отдельная воля, потому что отдельная воля может установить царство только насилем, и насилие ведет к ограниченности и окаменению. Человек должен найти свою волю в источнике, из которого вытекают все отдельные воли». Имя этому «источнику» Пришвин раскрывает в короткой миниатюре: «Больной монах показывает ребенку ветку трилистника и учит: «Этот листик во имя Отца, этот — Сына, а этот — Святого Духа» (Без даты. Архив В. Д. Пришвиной).

С чувством изначальной святости природы связано рождение в раннем Дневнике Пришвина многоликого образа-символа вселенной (природы) — церкви (храма). Пришвин не столько по-своему осмысляет традиционный в культуре образ, сколько своим собственным путем идет к его открытию. Мир — храм для него не литературное переживание, а истинное (см. т. 8, с. 19). Дневник воссоздает процесс рождения этого образа, связанного прежде всего с пришвинским переживанием «глубины природы» и возникающего в момент прикосновения к тайне в ее многоликости. Пейзаж в раннем Дневнике открывает пронизанность мира светом, его одухотворенность, взаимное соответствие вселенной (природы) — церкви (храма). «Соловьи звучат на весь мир ... этот хор в саду напоминает мне церковь» (т. 8, с. 17). «... И вечно горит негасимая лампада, и вечно: рюрю-рю...» (об «извечных трелях» лягушек и «покое мировом», — т. 8, с. 15). Восход солнца, встреча солнца вместе с птицами напоминает художнику «обедню, великое торжество» (т. 8, с. 16). «Всю ночь сквозь сон я слышал звон колоко-

лов. По всей земле звонили в колокола и какие-то тонкие золотые сплетения покрывали небо и землю» (т. 8, с. 20). «Вся вселенная, кажется, звонила, отсчитывая страсти Господни». «Храм построен по образу небесного купола, его колонны — лесные стволы, соединяющие небо и землю». Результатом переживания мира — храма явится признание Пришвина: «Страх потерять вселенность ведь и не дает уйти из церкви» (Архив В. Д. Пришвиной).

«Врожденное религиозное чувство», из которого «происходит» Пришвин-художник, заставляет его не только переживать связь мира и Бога, но и особенно остро ощущать их разлад, разлад природы и Бога, церкви и мира, церкви и культуры. Именно поэтому синтетически сложный — свето-цветовой, звуко-музыкальный, зрительно завершенный, духоносный — образ вселенной (природы) — церкви (храма), образ мира в его целостности и полноте, существует в Дневнике Пришвина не только как некое единство, но и как распавшаяся, разрушенная целостность. «Красота природы только в храме: это постоянное; вселенная понята в возгласе «и на земле мир», — пишет Пришвин, осознавая, что жизнь природы находит свое завершение в храме, здесь она становится причастной вечности. Вместе с тем он утверждает: «Природа — вот мое убежище. От нее все было взято человеком для устройства церкви, но природа по-прежнему живет, а церковь уже мертвая ... Вечные законы природы и по образу их церковь» (Архив В. Д. Пришвиной).

Пришвин, как и многие его современники, в том числе Мережковский, осознает разлад между церковью и миром. Но Пришвин понимает также единство и различие церкви как социального феномена и как явления духовного. С этой точки зрения характерна следующая запись Пришвина: «Церковь и жизнь. Христос и поп, Его изображающий. Птица, летящая в воздухе, и безобразная тень на земле. Многие видят одну только тень и получают отвращение к церкви, Христа узнаешь в церковных напевах, в богослужении, идеальный путь, которому научила Церковь, и видимая ужасная церковь» (Без даты. Архив В. Д. Пришвиной). В «видимой ужасной церкви», которую он, как и Мережковский, называет «мертвой», Пришвин способен, однако, увидеть живое начало. Так, он пишет в связи с о. Георгием, священником из села Спас-Чекряк, который станет одним из героев «Заворошки»: «Что изумляет меня, так это творчество внутри православной мертвой церкви». Пришвин видит родство критического осмысления церкви русской интеллигенцией с реформационными процессами на Запа-

де: «Реформация ... человек освобождается от церкви, попавшей в "прелесть", и остается с Евангелием» (Без даты. Архив В. Д. Пришвиной). В церкви — социальном феномене, как и в целом в мире природно-историческом, Пришвин способен разглядеть вечную истину Христовой Церкви.

Открывая Бога на «границе природы и человека», Пришвин осознает свой дар художника: свою связь с «глубины природы», из которой он вышел. «Я жил, получая кровь от матери-земли», — пишет он (т. 8, с. 72). Не рассматривая специально вопрос о феномене пришвинского чувства природы — это не входит в нашу задачу, — обозначим все же тот культурный контекст, в котором этот феномен может быть, с нашей точки зрения, адекватно понят. Чувство «глубины природы», дававшее Пришвину ощущение связи мира и Бога, ощущение изначальной божественности мира и вместе с тем его греховности, по сути, и в истоках своих близко русской народной религиозности, которую Г. Федотов называет софийной. Он устанавливает «сродство» народной религиозности с той традицией русской философской мысли конца XIX—XX веков, для которой «учение о Софии с ее божественно-тварным, небесно-земным ликом является центральным», и утверждает: «Если называть софийной всякую форму христианской религиозности, которая связывает неразрывно божественный и природный мир, то русская народная религиозность должна быть названа софийной»³⁷.

Чувство связи божественного и природного мира, существующее народной религиозности, знакомо Пришвину не только по хрущевскому детству, впечатлениями которого он до конца жил, но и по опыту собирания фольклора во время путешествий на Север в 1906—1907 годах, опыту всей его жизни русского интеллигента и «ходока от народа», скитающегося по родной земле. Характерно, что уже в первом произведении Пришвина «В краю непуганых птиц» возникает ключевой здесь и во всем творчестве писателя — как исходная для него интуиция мира — символический образ водопада. Водопад — природно-исторический, а точнее, космический символ Пришвина, в котором раскрывается его представление о судьбе мира и ее постижении человеком. Созерцание надвоицких водопадов, а затем «темной массы» людей на Невском проспекте в Петербурге составляет героя (и автора) осознать мир в его природно-ис-

³⁷ Г. П. Федотов, *Мать-земля* (К религиозной космологии русского народа). — В кн.: Г. П. Федотов, *Судьба и грехи России*, в 2-х томах, т. 2, СПб., 1992, с. 67.

торическом существовании как «гул и хаос», увлекающий в бездну, как стихийную жизнь множества. И только в духовном усилии прозрения ему открывается «Божественная красота» бесконечно сложной жизни этого множества. Герой и автор постигают устремленность и движение мира от множества к безусловному единству, от бессмысленности к всеобъемлющему смыслу, по которому человек тоскует как по своей «забытой родине», от разрушенной в мире зла целостности жизни к «новому небу» и «новой земле». В преображении мира откроется им суть мирового процесса.

Ранний Дневник Пришвина свидетельствует о том, что в природе, делающей его причастным полноте бытия, причастным Богу, он видит ту подлинную жизнь, которая, с его точки зрения, противостоит идейности и книжной культуре интеллигенции круга Мережковских. Пришвин пишет, что именно природа спасала его от «кошмара идейной пустоты», которую он ощущал прежде всего в «школе Мережковских» и страх которой заставлял его отшатываться от них и сближаться с их «тайными врагами» — Ремизовым и Розановым. Мережковские и сами ощущали ту черту, которая отделяла от них Пришвина. «Вы признаете только Бога-Отца», — говорила Пришвину З. Н. Гиппиус, «разбирая» рукопись его книги «У стен града невидимого» (т. 8, с. 37). Мережковский вторил ей: «Михаил Михайлович весь в жизни, его ... надо отвлекать от этого» (т. 8, с. 63). «Вчера мне сказали, будто я стою против духа. Трава зеленая против духа», — записывает Пришвин в Дневнике в связи с Мережковскими (т. 8, с. 63).

Однако в своем чувстве природы, в своем даре художника воссоздавать ее Пришвин откроет противоречие жизни и идеи, которое мучило его в Мережковском. В природе он увидит не только начало спасающее, делающее его причастным «жизни», но и уводящее от ее полноты в сферу «идеи», губящее. О глубине и величайшем драматизме переживания Пришвиным этого противоречия свидетельствует следующая запись из раннего Дневника: «Виден смысл, значение каждого цветка, каждого глаза животного, тонкие желания, затаенные мысли всего на свете... Это ли Бог? Этому ли молиться? Хочу быть! Раскрываю Евангелие...» (Без даты. Архив В. Д. Пришвиной).

Драматизм положения Пришвина между «естественным откровением», познанием Бога в природе и откровением Евангельским, возникший из сокровенной глубины его личности, его таланта художника, предопределил последующий его путь к Слову.

Пришвин будет известным писателем — певцом и философом природы, когда в 1940 году, встав перед «роковой чертой» между поэзией и нравственным миром, поэзией и религией, он придет к мысли «о недостоверности» всего своего прошлого. В своем образе писателя, «сливающего свой голос с голосом всей твари», Пришвин увидит образ «охотника и ницшеанца», жизнь и творчество свое поймет как «кокетливую игру в уединенного гения, как одну из форм эстетического демонизма». «Странническое блуждание по неустроенной стране в костюме охотника с дикаркой и детьми, вызов мещанскому обществу и т. д. — все до точности происходит от ницшеанского сверхчеловека в русском издании», — пишет он в книге «Мы с тобой» (Архив В. Д. Пришвиной). Источник своей «литературы о Пане» Пришвин увидит в «аскетическом презрении к самой жизни». «И это в глазах чудаков имело вид «Пана», — с горечью скажет он («Мы с тобой». Архив В. Д. Пришвиной). В своей «литературе о Пане» Пришвин осознает собственную причастность «индивидуалистическому эстетизму» начала века, причастность той культуре взамен жизни, которой он так сопротивлялся в «школе Мережковских».

Преодолевая «частичность» и «недостоверность» своего прошлого, состоящего, с его точки зрения, в «подвиге ради поэзии», Пришвин отстаивает в себе «талант вовсе другого нравственного происхождения», чем талант «охотника и ницшеанца». Это тот талант художника, который вел его к духовному перевороту 1940 года и заставил его признать «первенство жизни перед искусством», признать, что «был бы Бог — Рублев явится» (№ 8, с. 269), окончательно утвердиться в понимании дела художника как служения Великому Художнику и «защищать художество как создание новой и лучшей реальности, как воплощение» («Мы с тобой». Архив В. Д. Пришвиной).

Противостояние идеи, культуры и жизни, искусства и религии в 1940 году Пришвин осознает как результат разрыва духовного и материального, небесного и земного, разрыва, который, с его точки зрения, лежит в основе современной ему культуры. Однако «новое сознание» заставляет его признать, что в действительности черты между небесным и земным миром «вовсе не существует» (№ 9, с. 253), черту эту человек проводит в собственной душе, ограничивая себя, превращая себя в человека «частичного». «Самое главное, что это возможно — проникновение в тот мир, в котором существует наипо единство и свобода, и рано ли, поздно ли — все в него войдем» (№ 6, с. 257), — скажет

Пришвин вслед за Валерией Дмитриевной, — «настоящий мир один и вовсе не разделяется» (№ 9, с. 226).

Талант, противостоящий в Пришвине таланту «охотника и ницшеанца» (как он назовет себя в своем покаянном суде), помогал ему видеть в окружающем мире не только тот мир, который есть, с его трагически неразрешимыми противоречиями, но и ощущать в нем живое присутствие вечности и Бога — того мира, который должен быть с его светом и радостью и к которому вел Пришвина прежде всего его дар проникновения в «глубину природы». В творчестве Пришвина сострадание человеку мира, лежащего во зле, соединяется с песнью о «вселенной в свете радости». «Может быть, самое главное у меня ... есть упрямая, бесспорная («несмотря ни на что») радость жизни, — писал Пришвин. — И все творчество в указании: указываю, глядите туда, там вечная радость» (т. 8, с. 645).

Диалог Пришвина и Мережковского, рассмотренный в статье, не исчерпывающей темы взаимосвязи писателей, делает тем не менее очевидным, что Мережковский, как и вся культура «начала века», был с Пришвиным на протяжении всего его пути богоискания, что Пришвин, всю жизнь преодолевая в себе противоречия «времени Мережковского», шел вместе с ним к Граду Невидимому, шел от детской веры и ее утраты, от поклонения «какому-то» марксистскому богу через богоборческий бунт — к Богу, открывающемуся на «границе природы и человека», к природе, которая и спасала, и губила его, и вела его по пути к Слову.
